

# ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ!

(Окончание. Начало на 4—5-й стр.)

Да, не однажды Достоевский признавался в том, что припадкам его страшной болезни предшествовали считанные мгновения (он никогда не мог установить точно, сколько именно), когда он чувствовал блаженство, предощущал наступление полной и совершенной гармонии и в себе самом, и в окружающем мироздании. Он признавался и в том, что готов платить жизнью за это необычайное состояние. Но мы еще и поспорим, что здесь причина, что — следствие, что — самогипноз, что — реальность, ведомая только тем, кто ее испытал на себе. Достоевскому исполнилось полтора столетия. Для него наступила история. Она шутить не любит. Ей не нужны приблизительные, на глазок, расчеты и соображения о масштабах этого гения. Отшумели споры богословов и философов Достоевского. Мало кого задела по-настоящему некогда знаменитая антитеза «Христос — Антихрист» в применении к нему. Отшумел и вульгарно социологический подход к нему, когда средняя школа тщательнее была отгорожена от какого бы то ни было соприкосновения с ним, когда профессора филфаков и литвузов преподносили его не иначе, как соратником Каткова или Победоносцева. Все это было, было, было — из песни слова не выкинешь — и прошло.

Достоевский стоит для нас в самом высоком и избранном ряду великих деятелей русской культуры. Там же, где Пушкин, Лев Толстой, Герцен...

## II.

Здесь уже было сказано о драматургической природе романов Достоевского. Но сказано было общо. А между тем сама русская сцена дает бесспорный комментарий к этому творчеству, и этот комментарий по своему значению и по воздействию не только поспорит с литературоведческим, но и превзойдет его.

В этом ничего удивительного. То, что логически доказано в книгах о писателе, на сцене показано живьем, во плоти, в действии, в разгаре страстей. Вот отчего совершенно не случайно обращаемся мы к этому источнику познания и понимания великого писателя. Инсценировка романов Достоевского побил рекорд и частотой своей, успехом на протяжении этого века. Такое временное расстояние может и затуманить зрение, исказить перспективу. Я попытаюсь избежать этой опасности, выхватывая только ярко и резко запомнившиеся сценические образы — те из них, которые и для меня сыграли важную роль в постижении великого писателя.

Вспоминается гениальный Орленев — Раскольников, внешне мало похожий на изголовавшегося петербургского студента, низенький, чуть толстоватый, но с такой маниакальной убежденностью ведущий свой смертный поединок с глазу на глаз со следователем, как будто оба они фехтуют на рапирах, — реплика в реплику — и разящий выпад, — смертный риск, — все поставлено на карту, — хриплое, тяжелое дыхание... Орленев по своему традиционному в старом театре «амплуа» считался невзрачным, но в Раскольникове, несмотря на бедность внешних данных, он был не только трагичен, но и страстно человечен. Жалеть его было некогда, им любовались, а если и жалели, то захлебывались слезами восторга.

Но вот более поздний и в высшей степени драгоценный и богатый опыт лучшего русского театра начала века, Московского Художественного. Инсценировка «Братьев Карамазовых», растянутая на два вечера подряд. Нет возможности охватить в целом это грандиозное сооружение. Я снова останавливаюсь на отдельных артистических образах.

Леонидов — Дмитрий Карамазов, с фронтовыми, бравыми шагами бывшего офицера, с волосами, зачесанными по-военному на височки, с прямо торчащими, какими-то тараканьими усами, с высоким чистым лбом, страстный обожатель Грушеньки, в то же время тайно вздыхающий о гордой Кате, нежный с младшим братом Алешей, безудержный в кутеже и в том же кутеже милосердно жалостливый к каждому из его участников, в их числе и к пану Муслимовичу, у которого он отбил Грушеньку. Дмитрий, великодушно открытый всем окружающим, щедрый, счастливейший, забывший обо всем на свете... и внезапно грубая до ужаса перемена в нем, когда появляются следователи, полицейские, понятия. Когда ему предъявлено обвинение в отцеубийстве. Дмитрий, раздетый чуть ли не догола, на глазах

у всех этих равнодушно любопытствующих людей.

Качалов — Иван Карамазов. Качалов, нарочито обезобразивший свое прекрасное лицо, с жидкой бороденкой, которую он постоянно жуёт, в очках. Да и голос у него не качаловский — глубокий и грудной, — а какой-то жидкий и шепелявый. Только острая диалектика, только взрывы интеллектуального темперамента выдают замечательного артиста — любимца и баловня Москвы. Только смелая выдумка — самому, одному сыграть весь диалог с чертом... впрочем, в этом пункте можно было поспорить с натурализмом МХАТа, не сумевшего или не захотевшего пойти на риск фантастики Достоевского.

Накопец — Лужский — отец Федор Павлович, омерзительный старик, сладострастник и блудодей, циничный и sentimentalный, гадина-паук, недочеловек.

А в «Селе Степанчикове» — Москвин — Фома Опискин, русский Тартюф, деспот маленького мирка помещичьей усадьбы. Это тоже было явлением искусства, равного по силе самому Достоевскому: такой наглый темперамент был у артиста, так разнообразен он был в лепке сложного образа, так буффонил и так становился ужасен — страшный сон, приснившийся окружающим и всему зрительному залу.

Два эти спектакля — «Братья Карамазовы» и «Село Степанчиково» — были целой эпохой не только сценического раскрытия Достоевского, но и его истолкования, приближения к духовной атмосфере десятых годов века. Этого никак нельзя сказать о спектакле, сделанном из «Бесов» (назван он был «Николай Ставрогин»). Недаром Алексей Максимович Горький откликнулся на него острой и негодующей статьей: тогда, в годы царской реакции, лучший русский театр изменил и себе самому, и своей демократической традиции, поставив «Бесов».

Но все это слишком далекие времена, чтобы сводить запоздалые счеты. Ведь и мы не хотим прибедняться! И у нас, на советской сцене, были решительные победы на том же трудном плацдарме, на том же берегу великой реки Достоевского.

Замечательная постановка Товстоногова в Большом Драматическом театре в Ленинграде: «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в роли князя Мышкина. В высшей степени совершенное перевоплощение в образ, каким он задуман Достоевским: образ положительного героя, родственник Дон Кихоту, «бедный рыцарь», наивный и мудрый, несущий в зрительный зал свет негасимой любви и сострадания.

Но есть и еще более близкая по времени победа на том же плацдарме, заслуживающая здесь характеристики. Я имею в виду «Петербургские сношения» в Театре имени Моссовета в постановке Юрия Завадского. Мне посчастливилось первому откликнуться на это воплощение «Преступления и наказания» в газете «Комсомольская правда». И скажу прямо, я горжусь тем, что оказался и первым, и правым в своей оценке недюжинного явления нашей театральной культуры. Дальнейшая судьба этого спектакля, ставшего одним из самых любимых у москвичей, доказала воочию правоту предсказания 1969 года.

Благодаря смелой, если не дерзкой условности постановки Завадскому удалось в сравнительно короткий спектакль вместить всю философию романа целиком и всю взбудораженную, страшную диалектику Раскольникова. Условность в том, что решающие сцены обращены впрямую к зрителям, вдвинуты в гущу партера. И зрители тем более захвачены перипетиями гениального детектива. Эти центральные сцены являют собой нервные узлы представления (они решают успех остального, — своего рода трубные сигналы, возвещающие о том, до чего близко касаются всех нас происходящие в романе события). Но рядом с этими решающими сценами существуют и сосредоточенные диалоги с глазу на глаз: Раскольников — Сонечка, Раскольников — следователь Порфирий.

И тут самое время сказать о замечательных артистах, исполнителях трех главных ролей, о тех, что по праву дарования разделяют с постановщиком Юрием Завадским его большую победу.

Геннадий Бортников молод, нервен, но его самообладание в этой огромной по объему роли поразительно. Он внезапно в переходах, смел в головокружительно полете бредовой мысли, в поступках — от решимости на двойное убийство вплоть до всенародного покаяния в нем.

Следом за Бортниковым называю Ию Савину — Сонечку Мармеладову, несущую со сцены свет совести и самоотверженной любви. Достоевский доверил своей героине самое заветное для себя. И вот существо слабое, социально беззащитное заковано в стальную броню сострадания. Ия Савина и целомудренна, и страстна до самозабвения. Она всего боится, но в конечном счете оказывается самой бесстрашной, когда решается руководить страдальцем Раскольниковым.

Можно сказать, что замысел Достоевского нашел и в Бортникове, и в Савиной воплощение конгенитальное.

Следователь Порфирий — чиновник царской службы и в то же время «человек конченый». Эту двойственность сложного образа превосходно играет Леонид Марков, третий из корифеев этой русской трагедии.

Могут спросить: зачем же так подробно останавливаться на последней по времени интерпретации Достоевского на нашей сцене? Разве это относится к полутрагедийной дате гениального гуманиста?

Да, относится впрямую!

Спектакль Театра имени Моссовета — это настоящий праздник нашей культуры в честь Достоевского. Как бы ни были зачитаны страницы собрания сочинений, как бы ни горел в памяти книжный текст, как ни велико молчаливое, библиотечное воздействие на читателей — все равно в театре по обе стороны рампы происходит праздник коллективный и в нем на равных правах участвуют и артисты, и зрители.

Знаменательно, что и в публицистике своей от шестидесятых годов до самой смерти, и в «Дневнике писателя» Достоевский остается верен себе, остается самим собою. Всюду и всегда он представляет слово своим оппонентам, действительно существующим и воображаемым. Он делает это щедро, хорошо схватывает их интонацию, как бы разделяя их позицию. А вознаграждает им не только от своего лица, но дает слово и третьим лицам, и четвертым, а то и всему «простонародью», то есть питерским рабочим и крестьянству, только что освобожденному от крепостной зависимости. Если же дело доходит до выяснения собственной позиции, он колеблется, ему нужны многословные оговорки, и снова и снова он ввязывается в чужой, многоголосый спор. Он сильный диалектик, но не гегельянец, как люди сороковых годов, его сверстники, а стихийный диалектик. Его публицистика так же полифонична, как его романы.

Из песни слова не выкинешь. Из песни Достоевского не выкинешь слова «христианство». Свою веру в будущее русского народа, в его предназначение вести человечество к братству он, особенно с семидесятых годов, склонен был связывать с верой в особую миссию православия и славянства. Мы обязаны помнить об этом. Нам, воинствующим атеистам, незачем затевать запоздалый спор с великим писателем, но незачем и замалчивать эту существенную сторону его пропаганды и проповеди. Достоевский так страстно искренен в исповедании своей веры в Россию, что всякое умалчение об этом превращается в искажение его облика.

Хорошо известно и во многих воспоминаниях красноречиво рассказано, какое действие произвела речь Достоевского на празднике открытия памятника Пушкину в Москве. Она перекрыла все, что ей предшествовало, она оказалась центром самого торжества — может быть, и не в силу мыслей и утверждений, которые содержались в этой речи, а в силу страсти оратора, его горячей веры в свою правоту и правду.

Менее известно, с каким воодушевлением читал Достоевский публично стихи самого Пушкина, как любил он читать их, особенно пушкинского «Пророка». Слушатели благодарили старого и большого писателя неистовыми овациями. Нам и трудно, и легко представить себе, как это происходило. Представить себе этого изможденного человека с восковым лицом, столько вынесшего на своем веку, уже на шестом десятке, когда он, судорожно выткнув правую руку, хриплым голосом старого курильщика воскинул эстрады или кафедры:

Встань, пророк, и виждь и внемли,  
Исполнись волею моею,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей...

Перед ним не стояла сложная конструкция микрофонов, разносящая его голос по всему пространству России. Этот голос звучал для тысячи — полутраста тысяч от силы петербуржцев или москвичей, которым посчастливилось проникнуть в театральный зал или в студенческую аудиторию. Можно быть убежденным, что в большинстве это была молодежь. Постараемся же и мы затесаться в эту толпу с горящими глазами, в толпу взволнованную и благодарную великому страдальцу.

И вместе с нею низко поклонимся удивительному человеку, который, как никто другой, только и делал в жизни, что ГЛАГОЛОМ ЖЕГ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ!